

Иллюстрации Люка Филдса

ГЛАВА I
РАССВЕТ

Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая, квадратная башня — вон она высится, серая и массивная, над крышей собора... И ещё какой-то ржавый железный шпиль — прямо перед башней... Но его же на самом деле нет! Нету такого шпиля перед собором, с какой стороны к нему ни подойди. Что это за шпиль, кто его здесь поставил? А может быть, это просто кол и его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы и длинное шествие — сам султан со свитой — выходит из дворца... Десять тысяч ятаганов сверкают на солнце, трижды десять тысяч алмей* усыпают дорогу цветами. А дальше белые слоны — их столько, что не счесть, — в блистающих яркими красками пополах, и несметные толпы слуг и провожатых... Однако башня английского собора по-прежнему маячит где-то на заднем плане — где она быть никак не может, — и на колу всё ещё не видно извивающегося в муках тела... Стой! А не может ли быть, что этот шпиль — это предмет самый обыденный — всего-навсего ржавый шип на одном из столбиков расхлябанной и осевшей кровати? Сонный смех сопровождает эти догадки и размышления.

Человек, чьё разорванное сознание медленно восстанавливалось, выплывая из хаоса фантастических видений, приподнялся наконец, дрожа всем телом; опершись на руки, он огляделся кругом. Он в тесной жалкой комнатушке с нищенским убранством. Сквозь дырявые

* Алмея — восточная танцовщица.

занавески на окнах с грязного двора просачивается тусклый рассвет. Он лежит одетый, поперёк неопрятной кровати, которая и в самом деле осела под тяжестью, ибо на ней — тоже поперёк, а не вдоль, и тоже одетые, лежат ещё трое: китаец, ласкар* и худая измождённая женщина. Ласкар и китаец спят — а может быть, это не сон, а какое-то оцепенение; женщина пытается раздуть маленькую, странного вида трубку. При этом она заслоняет чашечку костлявой рукой, и в предрассветном сумраке рдеющий уголёк бросает на неё отблески, словно крошечная лампа; и пробудившийся человек видит её лицо.

— Ещё одну? — спрашивает она жалобным хриплым шёпотом. — Дать вам ещё одну?

Он озирается, прижимая руку ко лбу.

— Вы уже пять выкурили с полуночи, как пришли, — продолжает женщина с той же, видимо привычной для неё, жалобной интонацией. — Ох, горюшко мне, горе, голова у меня всё болит. Эти двое уж после вас пришли. Ох, горюшко, дела-то плохи, плохи, хуже некуда. Забредёт китаец какой из доков, да вот ласкар, а новых кораблей, говорят, сейчас и не ждут. Ну вот тебе, милый, трубочка! Ты только не забудь — цена-то сейчас на рынке страх какая высокая! За этакий вот напёрсток — три шиллинга шесть пенсов, а то и больше ещё сдерут! И не забывай, голубчик, что только я одна знаю, как смешивать, — ну и ещё Джек-китаец на той стороне двора, только где ему до меня! Он так не сумеет! Так уж ты заплати мне как следует, ладно?

Говоря, она раздувает трубку, а иногда и сама затягивается, вбирая при этом немалую долю её содержимого.

— Ох, беда, беда, грудь у меня слабая, грудь у меня большая! Ну вот, милый, почти уж и готово. Ах, горюшко,

* Ласкар — матрос-индиец.

эк рука-то у меня дрожит, словно вот-вот отвалится. А я смотрю на тебя, вижу, ты проснулся, ну, думаю, надо ему ещё трубочку изготовить. А уж он попомнит, какой опиум сейчас дорогой, заплатит мне как следует. Ох, головушка моя бедная! Я трубки делаю из чернильных склянок, малюсеньких, что по пенни штука, вот как эта, видишь, голубчик? А потом прилажу к ней чубучок, вот этак, а смесь беру этой вот роговой ложечкой, вот так, ну и всё, вот и готово. Ох, нервы у меня! Я ведь шестнадцать лет пила горькую, а потом вот за это взялась. Ну да от этого вреда нету. А коли и есть, так самый маленький. Зато голода не чувствуешь, и тратиться на еду не надо.

Она подаёт наполовину опустевшую трубку и, откинувшись на постель, переворачивается вниз лицом.



Пошатываясь, он встаёт, кладёт трубку на очаг, раздвигает рваные занавески и с отвращением оглядывает троих лежащих. Он отмечает про себя, что женщина от постоянного курения опиума приобрела странное сходство с китайцем. Очертания его щёк, глаз, висков, его цвет кожи повторяются в ней. Китаец делает судорожные движения — быть может, борется во сне с каким-нибудь из своих многочисленных богов или

демонов — и злобно скалит зубы. Ласкар ухмыляется; слюны текут у него изо рта. Женщина лежит неподвижно.

Пробудившийся человек смотрит на неё сверху вниз, стоя возле кровати; потом, нагнувшись, поворачивает к себе её голову.

«Какие видения её посещают? — раздумывает он, глядя в её лицо. — Что грезится ей? Множество мясных лавок и трактиров, где без ограничений отпускают в кредит? Толпа посетителей в её гнусном притоне, новая кровать взамен этого мерзкого одра, чисто подметённый двор вместо зловонной помойки за окном? Выше этого ей всё равно не подняться, сколько ни выкури она опиума! Что?..»

Он нагибается ещё ниже, вслушиваясь в её бормотание.

— Нет, ничего нельзя понять!

Он опять смотрит на неё: по временам её всю словно встряхивает во сне; судорожные подёргивания сотрясают её лицо и тело — так иногда ночью от беглых молний содрогается тёмное небо; и это, видимо, заражает его — настолько, что он вынужден отойти к облезлому креслу у очага, поставленному там, возможно, именно на такой случай, и посидеть, крепко ухватившись за ручки, пока ему не удаётся одолеть злого духа подражания. Потом он опять подходит к кровати, хватая китайца за горло и поворачивает его лицом к себе. Китаец противится, пытается отодрать его руки, хрипит и что-то бормочет.

— Что?.. Что ты говоришь?

Минута насторожённого ожидания.

— Нет, нельзя понять!

Сдвинув брови, внимательно вслушиваясь в несвязный лепет, он медленно разжимает руки. Затем оборачивается к ласкару и попросту сбрасывает его с кровати. Грохнувшись об пол, тот приподнимается, сверкает глазами, делает яростные жесты, замахивается

воображаемым ножом. И тут выясняется, что женщина ещё раньше, безопасности ради, отобрала у него нож; ибо теперь она тоже вскакивает, кричит, унимает его, и, когда наконец оба рядом валятся на пол, вновь охваченные сном, нож ясно обозначается не у него, а у неё под платьем.

Шуму и крику было довольно, но трудно было что-либо во всём этом разобрать. Если и прорывались отдельные слова, то без смысла и связи. Поэтому третий, пристально следивший за ними, выводит прежнее своё заключение:

— Нет, ничего нельзя понять! — Он говорит это с удовлетворённым кивком головы и с мрачной усмешкой. Затем кладёт на стол горсть серебряных монет, отыскивает свою шляпу, ощупью спускается по выбитым ступенькам, попутно пожелав доброго утра привратнику, воюющему с крысами в тёмной своей каморке под лестницей, и исчезает.

В тот же день под вечер массивная серая башня предстаёт издали глазам утомлённого путника. Колокола звонят к вечерне, и, должно быть, ему непременно нужно на ней присутствовать, ибо, ускоряя шаги, он спешит к открытым дверям собора. Когда он входит, певчие уже надевают свои запачканные белые стихари; он достаёт собственный свой стихарь и, накинув его, присоединяется к выходящей из ризницы процессии. Затем ризничий запирает решётчатую дверь, певчие торопливо расходятся по местам и, склонив головы, закрывают лицо руками. И через миг первые слова песнопения: «Егда приидет нечестивый», будят в вышине под сводами и среди балок крыши грозные отголоски, подобные дальним раскатам грома.

ГЛАВА II
НАСТОЯТЕЛЬ — И ПРОЧИЕ

Кто наблюдал когда-нибудь грача, эту степенную птицу, столь сходную по внешности с особой духовного звания, тот видел, наверно, не раз, как он, в компании таких же степенных, клерикального вида, сотоварищей, стремится в конце дня свой полёт на ночлег, к гнездовьям; и как при этом два грача вдруг отделяются от остальных и, пролетев немного назад, задерживаются там и неизвестно почему медлят; так что невольно приходит мысль, что по каким-то тайным соображениям, продиктованным, быть может, высшей политикой грачиной стаи, эти два хитреца умышленно делают вид, будто не имеют с ней ничего общего.

Так и здесь, после того как кончилось богослужение в старинном соборе с квадратной башней, и певчие, толкаясь, высыпали из дверей, и разные почтенные особы, видом весьма напоминающие грачей, разбрелись по домам, двое из них поворачивают назад и неторопливо прохаживаются по обнесённому оградой гулкому двору собора.

Не только день, но и год идёт к концу. Яркое и всё же холодное солнце висит низко над горизонтом за развалинами монастыря, и дикий виноград, оплетающий стену собора и уже наполовину оголённый, роняет тёмно-красные листья на потрескавшиеся каменные плиты дорожек. Днём был дождь, и теперь под порывами ветра зябкая дрожь пробегает порой по лужицам в выбоинах камней и по громадным вязам, заставляя их внезапно проливать холодные слёзы. Опавшая листва лежит всюду толстым слоем. Несколько листочков робко пытаются найти убежище под низким сводом церковной двери; но отсюда их безжалостно

изгоняют, отбрасывая ногами, двое запоздалых модельщиков, которые в эту минуту выходят из собора. Затем один запирает дверь тяжёлым ключом, а другой поспешно удаляется, зажимая под мышкой увесистую нотную папку.

— Кто это прошёл, Топ? Мистер Джаспер?

— Да, ваше преподобие.

— Как он сегодня задержался!

— Да, ваше преподобие. И я задержался из-за него. Он, видите ли, стал вдруг не в себе...

— Надо говорить «ему стало не по себе», Топ. А «стал не в себе» это неудобно — перед настоятелем, — вмешивается более молодой из двоих грачей тоном упрёка, как бы желая сказать: «Можно употреблять неправильные выражения в разговоре с мирянами или с младшим духовенством, но не с настоятелем».

Мистер Топ, главный жезлоносец и старший сторож, привыкший важничать перед туристами, которыми он по долгу службы руководит при осмотре собора, встречает адресованную ему поправку высокомерным молчанием.

— А когда же и каким образом мистеру Джасперу стало не по себе — ибо, как справедливо заметил мистер Криспаркл, лучше говорить «не по себе», да, да, Топ, именно «не по себе», — солидно внушает своему собеседнику настоятель.

— Так точно, сэръ, не по себе, — почтительно подкивает Топ.

— Так когда же и каким образом ему стало не по себе, Топ?

— Да видите ли, сэръ, мистер Джаспер до того задохся...

— На вашем месте, Топ, я не стал бы говорить «задохся», — снова вмешивается мистер Криспаркл тем же укоризненным тоном. — Неудобно — перед настоятелем.

— Да, «задохнулся» было бы, пожалуй, правильнее, — снисходительно замечает настоятель, польщённый этой косвенной данью уважения к его сану.

— Мистер Джаспер до того тяжело дышал, — продолжает Топ, искусно обходя возникший на его пути подводный камень, — до того он тяжело дышал, когда входил в церковь, что уж петь ему было труднѐхонько. И, может, по этой причине с ним потом и приключилось что-то на манер припадка. Память у него затмилась. — Это слово мистер Топ произносит с убийственной отчётливостью, не сводя глаз с мистера Криспаркла и как бы вызывая его что-либо тут усовершенствовать. — Голова закружилась, и глаза стали мутные, даже боязно было на него смотреть, хоть сам он вроде не жаловался. Ну я его усадил, подал водицы, и он вскорости вышел из этого затмения. — Мистер Топ повторяет этот столь удачно найденный оборот с таким нажимом, словно хочет сказать: «Ловко я вас поддел, а? Так нате ж вам ещё раз».

— Но домой он ушёл, уже совсем оправившись?

— Да, ваше преподобие, домой он ушёл, уже совсем оправившись. И я вижу, он велел затопить у себя камин, это он хорошо сделал, потому на дворе мокрядь, да и в церкви нынче было ужас как сыро, и мистер Джаспер даже весь дрожал, как в лихорадке.

Все трое обращают взгляд к каменному строению, протянувшемуся поперёк двора, — бывшей монастырской привратницей над широкой аркой ворот. В окне с мелким переплётом мерцает огонь, а кругом уже сгущается сумрак, окутывая тенями пышные вороха плюща и дикого винограда на фасаде привратницей.

Соборный колокол вдруг начинает отбивать часы, и в тот же миг под налетевшим ветром зыблется листва вдали на фасаде, как будто и её колеблет мощная волна звуков, гулом наполняющая собор и реющая над башней и гробницами, над разбитыми нишами и выщербленными статуями.